

ЗОЛОТОЙ ВЕК  
РУССКОЙ  
ПОЭЗИИ



БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ПОЭЗИИ

*Лирика*

**В. Л. Коровин**  
**Золотой век русской**  
**поэзии. Лирика**  
Серия «Всемирная  
библиотека поэзии (Эксмо)»

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=30078213](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=30078213)*

*Золотой век русской поэзии: Эксмо; Москва; 2018*

*ISBN 978-5-04-091774-7, 978-5-04-091772-3*

**Аннотация**

«Золотым веком» русской поэзии принято называть поэзию пушкинской поры – «четверть века», отсчитанную самим Пушкиным от даты основания Царскосельского лицея (1811 г.), 1810–1830-е годы. В сборник вошли лирические стихотворения поэтов, определивших своим творчеством облик «золотого века русской поэзии»: В. Жуковского, К. Батюшкова, Д. Давыдова, П. Вяземского, А. Пушкина, А. Дельвига, В. Кюхельбекера, Е. Баратынского, А. Грибоедова и многих других.

# Содержание

Лирическая поэзия пушкинской поры	7
Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)	30
Вечер	30
Теон и Эсхин	35
Славянка	42
Весеннее чувство	50
Голос с того света	52
Песня	53
Невыразимое	55
Лалла рук	57
Воспоминание	60
Море	61
9 марта 1823	63
«Я Музу юную, бывало...»	64
Таинственный посетитель	66
Мотылек и цветы	69
Царскосельский лебедь	72
Розы	75
Константин Николаевич Батюшков (1787–1855)	76
Вакханка	76
К Дашкову	78
Тень друга	81
Судьба Одиссея	84

Мой гений	85
Разлука	86
Пробуждение	88
Таврида	89
Надежда	91
К другу	93
Переход через Рейн	97
«Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...»	104
Николай Иванович Гнедич (1784–1833)	105
Задумчивость	105
Осень	109
Дума	111
Денис Васильевич Давыдов (1784–1839)	112
В альбом	112
<Элегия I>	113
<Элегия IV >	115
<Элегия VIII>	117
Бородинское поле	118
Ответ	119
«Я помню – глубоко...»	120
Федор Николаевич Глинка (1786–1880)	121
Военная песнь, написанная во время приближения неприятеля к Смоленской губернии	121
Ночная беседа и мечты	124
К Богу великому, защитнику правды	125

Сон русского на чужбине	129
Конец ознакомительного фрагмента.	130

# **Золотой век русской поэзии. Лирика**

Составление *В. Коровина*

© Коровин В. Л., предисловие, примечания

© ООО «Издательство «Э», 2018

# Лирическая поэзия пушкинской поры

*Недаром – нет! – промчалась четверть века!  
А. С. Пушкин. «Была пора: наш праздник  
молодой...» (1836)*

Пушкинская пора – это 1810–1830-е годы, «четверть века», отсчитанная самим Пушкиным от даты основания Царскосельского лицея (1811 г.), «золотой век» русской поэзии. Именно в это время, по словам велеречивого, но, как правило, точного в своих оценках и прозорливого Н. В. Гоголя, полагались «страшные граниты» в основание «огромного здания чисто русской поэзии».<sup>1</sup>

Пушкин был центральной фигурой литературной жизни этого периода. На него возлагали надежды, с ним соперничали, ему подражали. В 1820-е годы в его поэзии находили осуществление принципов «народности» и «романтизма», позднее – увидели в нем «поэта действительности» и национального гения, выразившего «русскую идею». От его могучего обаяния пытались освободиться, отыскивая (и находя иногда) способы быть оригинальным, собственный, не-пушкинский стиль. Влияния Пушкина не избежал даже В.

---

<sup>1</sup> Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 151 (письмо к В. А. Жуковскому от 10 сент. 1831 г.).

А. Жуковский, его «побежденный учитель», не говоря уже о других его старших современниках (П. А. Вяземский, Ф. Н. Глинка и др.), тем более – о сверстниках или поэтах, начавших свой путь в 1820-е годы. Пушкин «был для всех поэтов, ему современных, точно сброшенный с Неба поэтический огонь, от которого, как свечки, зажглись другие самоцветные поэты. Вокруг его вдруг образовалось их целое созвездие...».<sup>2</sup>

Однако было бы неверно поэзию пушкинской поры сводить к отзвуку пушкинской лиры. Можно лишь говорить о достигнутом тогда необычайно высоком уровне *поэтической культуры*, который в Пушкине олицетворялся, но задан был не им и поддерживался не только его усилиями.

Преобразование русской лирики началось еще в конце XVIII века. Г. Р. Державин (1743–1816) сделал достоянием поэзии частный быт, конкретные жизненные обстоятельства и резкие особенности характера – свои собственные и своих современников. И. И. Дмитриев (1760–1837) внес в стихи интонации непринужденной светской беседы, сочетал легкость и изящество с точностью выражения мыслей – пусть и не слишком глубоких. Н. М. Карамзин (1766–1826) облекал в форму душевного разговора с друзьями или «милыми женщинами» нравственные и философические раздумья, подчас очень серьезные и проникнутые горьким скептицизмом. М. Н. Муравьев (1757–1807) природу и искусство при-

---

<sup>2</sup> Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6. С. 163.



общил к жизни чувствительного сердца, преданного идеалам красоты и добра. Именно их опытом воспользовались старейшие из поэтов «пушкинской поры», выступившие на литературное поприще в 1800-е гг., – В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков и Д. В. Давыдов.

Жуковский в своих ранних элегиях («Сельское кладбище», 1802; «Вечер», 1806), посланиях («К Нине», 1808; «К Филалету», 1809), романсах и песнях дал образцы новой лирики, целиком сосредоточенной на «жизни души». Интимные душевные переживания у него стали основой восприятия действительности, мерилom ее ценности. Слова, относящиеся к деталям пейзажа (*туман, луна, последний луч, могильный холм*), приобрели дополнительные оттенки значений, эмоциональную глубину за счет единства интонации, мелодического строя стихов, захватывающего читателя, передающего ему настроение поэта. Лирику Жуковского отличает внутреннее единство, общий возвышенный строй, устремленность к иному миру, прекрасному «там». Это единство ощущается как единство душевного облика самого поэта. За общими элегическими «жалобами на жизнь» вырисовывалась личная драма, за сентенциями о загробном воздаянии – принятая всей душой, а не только разумом, вера.

И для меня в то время было  
Жизнь и Поэзия одно.

(«Я Музу юную, бывало...», 1823).

Это и сообщало жизненную убедительность неопределенным и непереводаемым на язык прозы «чувствам души», выражаемым в поэзии Жуковского. В его поздней лирике 1815–1824 гг. «жизнь души» уже прямо таинственна и «невыразима» как причастная сокровенному смыслу бытия, о котором «лишь молчание понятно говорит» («Невыразимое», 1819). Поэтому тайна и окутывает все, что к этой «жизни души» принадлежит, – «святую Поэзию», любовь и сам образ возлюбленной, воспоминания, надежды, предчувствия («Таинственный посетитель», 1824). «Мистицизм» позднего Жуковского, за который его не раз упрекали,<sup>3</sup> явился лишь развитием принципов его ранней лирики, когда «жизнь души» выглядела проще и сводилась, по сути, к одной эмоции – элегическому унынию. Теперь же она осложнилась нравоучительной тенденцией, философическими прозрениями и чисто религиозными элементами – христианскою скорбью и упованием, сопряженными с идеалами жертвенности и самоотречения. В этом стремлении подчинить «жизнь души» задачам христианской дидактики в 1820-е гг. у Жуковского почти не нашлось последователей. Можно, по-

---

<sup>3</sup> Ср. замечание П. А. Вяземского в письме к А. И. Тургеневу от 5 сентября 1819 г.: «Жуковский слишком уж мистицизует... <...> Хорошо временем затеряться в этой глуши беспредельной, но засесть в ней и на чистую равнину не выходить напоказ – слишком уж подозрительно» (В. А. Жуковский в воспоминаниях современников. М., 1999. С. 217).

жалуй, назвать одного И. И. Козлова, начавшего писать стихи почти на сороковом году жизни, когда из-за болезни он лишился возможности передвигаться и утратил зрение.

Батюшков начинал с опытов в роде «легкой поэзии», культивирующей беззаботность и чувственные наслаждения, и во многом остался ее приверженцем даже после переломного в его творчестве 1812 года. В отличие от Жуковского, все у него зримо и определено: даже в «памяти сердца» – «очи голубые» и «локоны златые» («Мой гений», 1815), даже в задушевном мечтании – «румяные уста», «развеянные власы» и «снегам подобна грудь» возлюбленной («Таврида», 1815). Батюшковские образы – ясные и отчетливые, почти осязаемые, его стихи – «сладкозвучные». «Стих его часто не только слышим уху, но видим глазу: хочется ощупать извивы и складки его мраморной драпировки».<sup>4</sup> Вдохновленный идеальным образом классической древности, Батюшков предается мечте о бестревожном и безусловно прекрасном мире, полном страсти и одухотворенных наслаждений («сладострастия» – на языке батюшковской лирики), творит поэтическую утопию. Но это именно мечта, иллюзия, четкость контуров которой только яснее обнаруживает безысходную мрачность действительной жизни. Отсюда парадоксально драматичное звучание его стихов, не лишенных при этом какого-то целомудренного эротизма (как, например, в особенно ценимой Пушкиным элегии «Таврида»). Отсюда

---

<sup>4</sup> *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1981. С. 183–184.

же скорбные ламентации о гибели красоты, о «море зла», «бурях бед», о навсегда затмившихся «всех жизни прелестях» и неубедительные речи о «спасительном елее» веры («К другу», 1815). Неубедительные – потому что герой лирики Батюшкова, в отличие от Жуковского, не проекция души автора, а условный образ, мечта его о самом себе.<sup>5</sup> Этот герой одинаково условен в упоении сладострастием, в печали о погибшем друге и в религиозном воодушевлении, как условен, четко отграничен от реальности прекрасный мир, в котором он обитает.

В конце 1810-х годов, когда Пушкин и его сверстники начинали свою литературную деятельность, Жуковский и Батюшков первенствовали на русском Парнасе и оказали на них сильнейшее влияние. Пушкин в 1830 году писал о «гармонической точности, отличительной черте школы, основанной Жуковским и Батюшковым». Под «гармонической точностью» разумелось, в частности, умение в поэтическом слове передавать нюансы душевных переживаний, едва уловимые оттенки мыслей и чувств. Ограниченность эмоционального диапазона, экономия выразительных средств, подчиненных требованиям утонченного вкуса, подчеркнуто «кра-

---

<sup>5</sup> См.: *Жуковский Г. А.* Пушкин и русские романтики. М., 1995. С. 143–145. Дистанция, отделявшая Батюшкова от героя его лирики, была очевидна и его современникам. Ср. в письме П. А. Вяземского к А. И. Тургеневу от декабря 1819 г.: «О характере певца судить не можно по словам, которые он поет... <...> Неужели Батюшков на деле то, что в стихах? Сладострастие совсем не в нем» (Остафьевский архив. Т. 1. СПб., 1899. С. 382).

сивое» звучание стихов тоже были отличительными чертами этой «школы». Не говоря уже об эпигонах, некоторые достаточно крупные поэты 1820-х годов так и не покинули ее пределов. Таков В. И. Туманский с его «звучными стихами», вызвавшими ироничную реплику Пушкина в «Путешествии Онегина». Даже обращаясь к «гражданской» тематике, вошедшей в моду в 1820-е годы, Туманский оставался прежде всего элегическим поэтом («нежным» лириком был и его троюродный брат Ф. А. Туманский, поэт-дилетант, напечатавший не больше десятка стихотворений). Таков отчасти А. А. Дельвиг с его добродушным эпикурейством и изысканным «эллинизмом». Идиллии и «русские песни» – самая оригинальная часть его поэзии. В них он перешагнул границы чисто интимной лирики («жалобы» звучали не прямо от лица автора). Но и «простонародные», и «классические формы» Дельвиг, по замечанию И. В. Киреевского, облек в «душегрейку новейшего уныния».<sup>6</sup> А за его элегиями и романсами вставал образ «чувствительного мудреца», столь же условный, как герой лирики Батюшкова.

К элегическим поэтам принадлежал и Денис Давыдов, отличившийся своими «гусарскими» стихами еще в 1800-е годы (два послания «Бурцову», 1804, и др.). Однако герой его лирики – не кроткий мечтатель, а личность яркая, эксцентрическая. При этом все атрибуты «гусарщины» – военное удалство, пьянство и волокитство – в лучших стихах Давы-

---

<sup>6</sup> Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 71.

дова только оттеняли его тонко чувствующую натуру, способную, например, глубоко пережить любовную драму. Командование партизанскими отрядами в войне 1812 года дополнило его портрет подлинно героическими чертами. Давыдов и его лирический двойник слились в единое целое. За поэтическими строками читатель силился разглядеть реальную биографию, индивидуальность поэта. «Сильные» чувства, противопоставленные элегии как неестественно экзальтированные («дрожь любви» и «бешенство желанья», от которых дыхание разрывается [«Элегия <VIII>», 1818]), Давыдову «прощались», считались естественными проявлениями его необыкновенной личности. Так среди унылых элегических лириков он уже в 1810-е годы предвосхитил романтическую «поэзию страстей», увлекшую пушкинских современников позднее. Потому-то Пушкин, учившийся «гармонической точности» у Батюшкова и Жуковского, Давыдову был благодарен за то, что он «дал ему почувствовать еще в Лицее возможность быть оригинальным».<sup>7</sup>

Экспрессивный поэтический стиль Давыдова выражал оригинальные «чувства» поэта-партизана. Князь П. А. Вяземский, воспитанный в традициях философского вольнодумства XVIII века, пытался в иронических куплетах («Цветы», 1817, «Ухаб», 1818), дружеских посланиях («Толстому», 1818) и медитативных элегиях («Первый снег», «Уны-

---

<sup>7</sup> А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1974. Т. 2. С. 109 (из воспоминаний М. В. Юзефовича).

ние», 1819) выразить свой оригинальный «ум». Слог его отличается пестротой и неуравновешенностью. Сентиментальная фразеология соседствует с архаическими славянизированными оборотами, изысканные «поэтизмы» – с грубыми просторечиями и рискованными неологизмами. Стихи его часто лишены «певучести» и звучат «жестко», как проза. Они производят впечатление умного разговора, доверительного или холодно ироничного, с другом или недругом, прямо без обработки перенесенного на бумагу: «Никогда не пожертвую звуку мыслью моею. В стихе моем хочу сказать то, что хочу: о ушах ближнего не забочусь и не помышляю. <...> Не продаю товара лицом. Не обделываю товара, а выдаю его сырьем, как Бог послал».<sup>8</sup>

В пушкинское время Вяземский – убежденный либерал, негодующий на глупость и косность правительства, раздражительный участник всевозможных стычек с литературными неприятелями, апологет романтизма, сатирик и остро слов. Как выдающийся лирик он явился довольно поздно, к концу 1820-х годов. Лучшие его стихи созданы уже в послепушкинскую эпоху, когда Вяземский ощутил себя в интеллектуальном и нравственном одиночестве, последним ее представителем, хранителем традиций, обреченных на исчезновение. Некоторые из этих стихов отмечены близостью

---

<sup>8</sup> Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Т. 1. СПб., 1878. С. XLI–XLIII. Ср. замечание Гоголя: «Его стихотворенья – импровизации, хотя для таких импровизаций нужно иметь слишком много всяких даров и слишком приготовленную голову» (*Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6. С. 167*).

к философской и политической лирике Ф. И. Тютчева («Бастей», 1853; «Моя вечерняя звезда...», 1855; «Ни движенья нет, ни шуму...», 1863 или 1864). Поздний Вяземский – язвительный оппонент новых поколений, прогресса и «либерального холопства», лирик, с большой силой и беспощадной откровенностью выразивший ожесточенную скорбь души, пораженной утратами близких, страданиями болезни и безверием.

Ф. Н. Глинка, другой долгожитель из поэтов пушкинской поры, новое время тоже не принял, но не по «личным», а религиозным мотивам. Как и Вяземский, он был старшим современником Пушкина. «Письма русского офицера» Глинки, отражающие впечатления непосредственного участника войн с Наполеоном в 1805–1815 гг., пользовались широкой известностью, как и его «военные песни» 1812 года («Военная песнь, написанная во время приближения неприятеля к Смоленской губернии» и др.). Некоторые стихи Глинки (отрывки из них) со временем получили самостоятельную жизнь как народные песни и городские романсы («Сон русского на чужбине», 1825; «Песнь узника», 1826). Его подражания псалмам (Пушкин назвал их «элегическими псалмами»), в которых высокий стиль духовной оды XVIII века сочетался с элегическими мотивами, нравились публике откровенными политическими, противоправительственными аллюзиями (Глинка в 1818–1821 гг. являлся одним из руководителей декабристского Союза Благоденствия). Но



наиболее своеобразна у него не «гражданская», а собственно религиозно-философская лирика, лишенная политического подтекста. В отличие от Жуковского, у Глинки религиозное чувство не интимно, а общезначимо и нравственно-назидательно. Это не столько сокровенная «жизнь души», сколько религиозное философствование или проповедь. Христианское умонастроение, «душеполезная» направленность пронизывают даже его поэму «Карелия» (1830), ценившуюся современниками за этнографические подробности и красочные описания северной природы (позднейшие его поэмы – «Иов» [1859] и «Таинственная капля» [1861] – религиозные эпopeи, основанные на библейских книгах и христианских легендах). В поздних стихах Глинки – не сожаление о прошлом и одиночество среди «чуждых» поколений, как у Вяземского, а критика современной бездуховной цивилизации, предсказания неизбежных катастроф («Ф. И. Тютчеву», 1849; «Две дороги», 1850-е-1870-е).

Крупнейшим лириком, вступившим в литературу почти одновременно с Пушкиным, был Е. А. Баратынский. К началу 1820-х годов вместе с Пушкиным и его лицейскими товарищами А. А. Дельвигом и В. К. Кюхельбекером он входит в дружеский «союз поэтов»,<sup>9</sup> обменивавшихся между со-

---

<sup>9</sup> Выражение восходит к стихотворению Кюхельбекера «Поэты» (1820): «Так! Не умрет и наш союз, / Свободный, радостный и гордый, / И в счастье и в несчастье твердый, / Союз любимцев вечных муз!» Пушкин перефразирует эти строки в элегии «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...», 1825): «Друзья мои, прекрасен наш союз!.. и т. д.»

бой стихотворными посланиями. К концу 1820-х гг. он уже знаменитый поэт, автор поэм «Пирь» (1820), «Эда» (1826), «Бал» (1828), «певец пиров и грусти томной» (по выражению Пушкина). «Томная» грусть – это грусть любовная. Баратынский стал создателем необычного типа любовной элегии, говорящей не о любви, а о том, что она прошла («Разуверение», 1821; «Признание» [«Притворной нежности не требуй от меня...»], 1823). Баратынский даже в ранней любовной лирике сосредоточен не столько на «чувствах», сколько на общих закономерностях человеческих отношений, подчиненных времени и судьбе. В зрелые годы это уже «строгий и сумрачный поэт» (по выражению Гоголя), погруженный в мучительные вопросы человеческого бытия. «Опыт», охлаждающий душу, время, смерть, вера и неверие, враждебная человеку судьба и возможность «оправдания» Творца и Его промысла о человеке – вот сквозные темы лирики Баратынского. В отличие от других романтических поэтов, стремившихся к искренности в выражении чувств, он сделал предметом поэзии «обнаженную» мысль, для которой не существует запретов и ограничений, мысль, разоблачающую любые иллюзии и угрожающую самой жизни.

Но пред тобой, как пред нагим мечом,  
Мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная!  
«Все мысль да мысль! Художник бедный слова!...»

(1840)

«Мысль» у Баратынского стала ценностью более существенной, чем «сердца бесполезный трепет», потребовала от поэта мужества и бесстрашия, способности всем существом принять и пережить ее последствия. Отсюда торжественный и скорбный строй поэзии Баратынского – поэзии «разуверения» и «таинственных скорбей». Мысль, безжалостно снимающая с жизни ее обольстительные покровы, останавливается только перед «могильным рубежом», за которым сияет «свет незаходимый». И здесь вновь дается место вере и надежде, но не как задушевной мечте или отвлеченной догме, а как выстраданной поэтом реальности, недоступной для «легких чад житейской суеты».

Пред Промыслом оправданным ты ниц  
Падешь с признательным смиреньем,  
С надеждою, не видящей границ,  
И утоленным разуменьем...

*«Осень» (1836–1837).*

По словам первого биографа Пушкина, «три поэта составляли для него плеяду, поставленную им почти вне всякой возможности суда, а еще менее, какого-либо осуждения: Дельвиг, Баратынский и Языков».<sup>10</sup> Дельвиг был близким другом Пушкина, Баратынский – равным и достойным его соперником в лирических жанрах. Н. М. Языков же – это, в

---

<sup>10</sup> Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 162.

глазах Пушкина, младший поэт с «необыкновенными силами», которому предстоят великие свершения.

Многие свои стихотворения Языков назвал «Элегиями», но это не грустные и мечтательные элегии Жуковского и Батюшкова, а в лучших своих образцах стремительные, бодрые, полные жизнеутверждающей энергии стихи. «Стих его только тогда и входит в душу, когда он весь в лирическом свете; предмет у него только тогда жив, когда он или движется, или звучит, или сияет, а не тогда, когда пребывает в покое».<sup>11</sup> Герой его ранней лирики, созданной в студенческие годы в Дерпте (ныне г. Тарту, Эстония), – восторженный, заносчивый и вольнолюбивый студент, предающийся буйным кутежам в предошущем своего несомненно великого будущего. Студенческий разгул Языкова напоминает «гусарство» Дениса Давыдова, но, по сути, не нуждается в биографической и «профессиональной» мотивировке, а происходит от чистого «буйство сил». Образ кутилы-студента Языков быстро перерастает, и ощущение собственной мощи становится у него личной особенностью, чертой гения, отмеченного необыкновенным даром, свойством его русской «натуры» и, наконец, самой России, призванной быть «первым царством во вселенной». Это внутреннее родство силы поэта и могущества державы дало единственные в своем роде образцы патриотической лирики, сообщив им потрясающую силу воздействия на читателя (как, например, в посла-

---

<sup>11</sup> Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6. С. 167.

нии «Денису Васильевичу Давыдову» [1835], вызвавшему, по свидетельству Гоголя, слезы на глазах несентиментального Пушкина).

И. В. Киреевский «господствующее чувство» поэзии Языкова определил как «какой-то электрический восторг», а «господствующий тон его стихов» – как «звучную торжественность».<sup>12</sup> В этом как будто бы есть противоречие (восторг обычно ассоциируется с чем-то быстрым, стремительным, а торжественность – с медлительным шествием), но только мнимое. Пушкин слог Языкова охарактеризовал как «твердый, точный и полный смысла». Лучшие его стихи полновочувственны и весомы, а обычная у него пьянящая восторженность может оборачиваться огромным зарядом сдерживаемой силы:

Пусть, неизменен, жизни новой  
Приду к таинственным вратам,  
Как Волги вал белоголовый  
Доходит целый к берегам!

(«Молитва», 1825)

Пушкин, Вяземский, Баратынский, Языков, отчасти и Глинка в разной степени опирались на опыт элегической школы Жуковского и Батюшкова и, даже весьма далеко от нее уходя, ценили ее достижения. Но были у этой школы и

---

<sup>12</sup> Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 140.

принципиальные критики и оппоненты. Это в первую очередь В. К. Кюхельбекер. Некоторые его ранние стихи – образцовые унылые элегии, к тому же он один из ближайших друзей Пушкина, и ему всегда импонировал одухотворенный и религиозно настроенный Жуковский. Тем не менее в начале 1820-х гг. он выступает как убежденный противник интимной лирики, «эгоистически» обращенной к частным переживаниям, и сторонник общественно значимой и высокой поэзии. В нашумевшей тогда статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824) он проницательно отметил слабые стороны элегии и решительно высказался в пользу устаревшей, как многим казалось, оды – гражданской и духовной. По Кюхельбекеру, «удел элегии – умеренность, посредственность», тогда как «в оде поэт бескорыстен: он не ничтожным событиям собственной жизни радуется, не об них сетует; он вещает правду и суд Промысла, торжествует о величии родимого края, мечет перуны в сопостатов, блажит праведника, клянет изверга». Кюхельбекер и на практике пытался возродить этот жанр, посвятив войне греков за независимость от турок пространные оды «Пророчество» (1822) и «Смерть Байрона» (1824). В этих и других стихотворениях он сознательно культивирует архаический, переполненный славянизмами, неудобопонятный слог, передающий страстную напряженность и высоту помышлений поэта (на архаические пристрастия Кюхельбекера оказало влияние общение его с А. С.

Грибоедовым, обращавшимся в своих стихах к аналогичным экспериментам). Излюбленные темы Кюхельбекера – жертвенная гибель в борьбе за свободу, враждебность этого мира к поэту, неизбежность для него трагической развязки. И вот – не являясь членом тайного общества декабристов, хотя и разделяя их революционные устремления, он по роковой случайности накануне 14 декабря 1825 года оказался в Петербурге, был принят в общество, участвовал в восстании на Сенатской площади, пытался стрелять в великого князя Михаила Павловича, бежал, был пойман, осужден, десять лет провел в одиночном заключении и скончался на поселении в Сибири. Так Кюхельбекер оказался в числе тех, кто, по его позднейшему выражению, «прекрасной обольщенные мечтою, пожалелись годиною роковою» («Участь русских поэтов», 1845).

Лучшая часть созданного Кюхельбекером – его поэмы и драмы, по большей части написанные уже после 1825 года, как и его лучшие лирические стихотворения. В заключении и ссылке героические и страдальческие мотивы его лирики приобрели жизненную достоверность, почти бытовую конкретность. Высокий стиль и библейская образность, плохо вязавшиеся с сиюминутной политической проблематикой, оказались адекватны по-настоящему трагическому положению поэта, взывающего к Творцу о помощи и не ждущего ее больше ниоткуда.

Среди поэтов-декабристов Кюхельбекер, безусловно, был

самым значительным и оригинальным (если не считать старших по возрасту и непричастных к самому декабрьскому восстанию Глинку и П. А. Катенина, автора написанных в соперничестве с Жуковским «русских» баллад, выдающегося мастера, к которому юный Пушкин как-то пришел со словами: «Побей, но выучи»). К. Ф. Рылеев, подражавший то Жуковскому, то М. В. Милонову, рано скончавшемуся сатирику 1810-х годов, вообще оказавшему влияние на становление «гражданской» поэзии декабристов, к моменту восстания только едва нащупывал свой «особенный путь» (в «Думах» и поэме «Войнаровский»). Замечательная лирика А. И. Одоевского, в отличие от Кюхельбекера, лишена внутреннего единства, распадаясь на любовные элегические («Мой непробудный сон», 1827), декламационные «гражданские» («Струн вещей пламенные звуки...», 1827) и мотивированные конкретными обстоятельствами религиозные стихотворения («Воскресенье», 1826).

Вообще, «гражданская» поэзия в 1820-е годы была особенно привлекательна не только потому, что таковы были общественные настроения, а потому, что в ней видели альтернативу интимной элегической лирике, возможности которой казались исчерпанными Жуковским, Пушкиным, Баратынским и др., а содержание – неглубоким. Другой альтернативой стала «философская» лирика, «поэзия мысли», о необходимости которой заговорили «любомудры», выпускники Московского университета, увлеченные немецкой фи-



лософией, – Д. В. Веневитинов, С. П. Шевырев и др. Но, в отличие, например, от Баратынского, серьезным, «положительным» содержанием этой «поэзии мысли» должна была стать собственно философская проблематика. Так, Веневитинов, говоря в стихах о поэте, «любимце муз и вдохновения», и «святой поэзии», подразумевал идеи немецкого философа Ф. Шеллинга о «тайном покрове» природы, поднимающемся лишь для бескорыстно посвятившего себя высшей силе поэта, и о поэзии как высшей форме философствования («Жертвоприношение», 1826, и др.). Шевырев пытался выработать новый, усложненный и «темный» поэтический язык, соответствующий глубине и сложности философских проблем и противопоставленный бездумной «чистоте» и «прозрачности» элегического стиля («Критику», 1830). Близкий к кружку «любомудров» А. С. Хомяков, один из «отцов» славянофильства, так же как Веневитинов, в философском ключе, писал о поэте, дающем «творенью мертвому язык» («Поэт», 1827). В поздних его стихотворениях преобладают религиозно-дидактические мотивы, при этом заметно выделяются стихи, посвященные осмыслению судеб и назначения России (два стихотворения «России» 1839 и 1854 годов; «Раскаявшейся России», 1854; и др.). В лирике Хомякова, поэта, публициста, историка и богослова, религиозная, философская и политическая проблематика не просто тесно связаны, а даны в органическом единстве, вытекающем из на редкость цельного и непоколебимо твердого мировоззрения.

ния автора, отличающего его среди поэтов пушкинской поры и вообще большинства литераторов XIX века. Впрочем, «гражданские» и религиозно-философские мотивы нередко переплетались и у менее крупных поэтов, как, например, у контактировавших и с декабристами, и с «любомудрами» А. А. Шишкова («Три слова, или Путь жизни», 1828) и А. Г. Ротчева («Богач, гордясь своим именем...», 1827).

Веневитинов, Шевырев и Хомяков – последние из поэтов пушкинской поры, входившие в «пушкинский круг», лично с ним связанные, хотя и они принадлежат к новому поколению, сменившему Пушкина и его сверстников на литературной сцене. В конце 1820-х – начале 1830-х годов поэты пушкинского круга выпускают поэтические сборники, для многих ставшие первыми и при жизни последними. В 1829 и 1832 гг. выходят три части стихотворений Пушкина. В 1827 и 1835 гг. издает свои стихотворения Баратынский, в 1828 и 1832 гг. – Козлов, в 1829 г. – Дельвиг, в 1832 – Давыдов, Катенин и Н. И. Гнедич (тремя годами раньше, в 1829 г., он издал главный труд всей своей жизни – перевод «Илиады» Гомера), в 1833 г. – Языков. Жуковский в 1831 г. выпускает все свои старые и новые баллады, чтобы вновь к этому жанру уже не возвращаться (теперь он обратится к опытам в эпическом роде, а чистую лирику он практически оставил еще в 1824 г.). Это выглядело как последний «парад» уходящего поколения поэтов.

Между тем в литературе происходили существенные пе-

ремены. Проза решительно начала теснить поэзию (сам Пушкин в 1830-е годы прозы, художественной, исторической и литературно-критической, пишет неизмеримо больше, чем стихов). Умножались журналы, расширялась и, соответственно, демократизировалась читательская аудитория, менялись вкусы. В моду вошли «неистовые» страсти, отвлеченная философия, масштабные политические идеи. Утонченная поэтическая культура пушкинской поры, требовавшая для своего восприятия образованности и досуга, новой демократической публике была непонятна и не очень нужна. В поэзии читатели искали того, что сразу поразит воображение, – новизны и эффектности выражений, необыкновенных, неведомых простому смертному мыслей и страстей. А поэты, в свою очередь, пытались уйти от растиражированных элегических мечтаний и «гладких» стихов, которые стало слишком легко сочинять, и тоже стремились к чему-то необыкновенному, превышающему человеческую меру.

А. И. Подолинский, оставаясь в целом последователем Жуковского и Козлова, в своих романтических поэмах, перенасыщенных восточной экзотикой («Див и Пери», 1827; «Смерть Пери», 1834–1835), перенес действие в космические сферы (предвосхитив отчасти «Демона» М. Ю. Лермонтова). А. И. Полежаев, человек несчастной судьбы, отданный в солдаты за непристойную поэму и умерший в госпитале после службы на Кавказе, в стихах с равной неистовостью предавался демоническому бунтарству и безжалост-

ному самоосуждению, безбожному отчаянию и надежде, экзальтированной любовной страсти и просто грязному разврату (в результате ему почти удалось создать свой собственный стиль, отличающийся полной непредсказуемостью). В. Г. Тепляков, автор «Фракийских элегий», которые успел высоко оценить Пушкин, находя в них «гармонию, лирические движения, истину чувств», внес в элегию батюшковского типа мотивы поэзии Дж. Байрона и философии Шеллинга.

Тепляков, Подолинский, даже Полежаев, начавшие свою деятельность в 1820-е гг., еще многими нитями связаны с «пушкинской порой». А вот В. Г. Бенедиктов (1807–1873), приобретший в 1830-е гг. большую, но недолгую (хотя во многом заслуженную) популярность, крестьянский поэт А. В. Кольцов (1809–1842) и М. Ю. Лермонтов знаменуют своим творчеством принципиально новый этап в русской поэзии. Впрочем, в их время стихи уже отходят на второй план, чтобы в 1840-е гг. вообще быть вытесненными прозой на обочину русской литературы. Трилунный (Д. Ю. Струйский),<sup>13</sup> небольшой, хотя и талантливый поэт, двоюродный брат Полежаева, в своей «Литературной заметке» 1845 года имел все основания указать на смерть Пушкина (1837) как на рубеж в истории русской поэзии:

Со смертью незапной твоей

---

<sup>13</sup> Псевдоним происходит от герба дворянского рода Струйских, на котором изображены три луны и три полумесяца.

Надолго умолкли на Севере песни!  
Без эха русская дремлет пустыня...

1850 г. Н. А. Некрасов вынужден был констатировать: «Стихов нет. Немногие об этом жалеют, многие этому радуются, большая часть ничего об этом не думает».<sup>14</sup> Но пройдет совсем немного времени, и в творчестве Ф. И. Тютчева, А. А. Фета и самого Некрасова поэзия докажет свою способность конкурировать с прозой, уже куда более сильной, чем в пушкинскую эпоху. А спустя еще полвека настанет «серебряный век» русской поэзии, и стихи в симпатиях публики вновь уравниются с прозой, даже в чем-то вновь ее потеснят. Но все-таки «золотой век» русской поэзии – это пушкинская пора, когда стихи еще безраздельно господствовали в литературе, и, вероятно, потому эта «четверть века» – совсем небольшой исторический срок – дала такое количество поэтов, многие из которых, не будь Пушкина, могли бы дать этому времени свое имя.

---

<sup>14</sup> Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1990. Т. 11. Кн. 2. С. 32.

# Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)

## Вечер Элегия

Ручей, виющийся по светлому песку,  
Как тихая твоя гармония приятна!  
С каким сверканием катишься ты в реку!  
Приди, о Муза благодатна,

В венке из юных роз, с цевницею златой;  
Склонись задумчиво на пенистые воды,  
И, звуки оживив, туманный вечер пой  
На лоне дремлющей Природы.

Как солнца за горой пленителен закат -  
Когда поля в тени, а рощи отдаленны  
И в зеркале воды колеблющийся град  
Багряным блеском озаренны;

Когда с холмов золотых стада бегут к реке,  
И рева гул гремит звучнее над водами;

И, сети склав, рыбак на легком челноке  
Плывет у берега меж кустами;

Когда пловцы шумят, скликаясь по стругам,  
И веслами струи согласно рассекают;  
И, плуги обратив, по глыбистым браздам  
С полей оратаи съезжают...

Уж вечер... облаков померкнули края,  
Последний луч зари на башнях умирает;  
Последняя в реке блестящая струя  
С потухшим небом угасает.

Все тихо: рощи спят; в окрестности покой;  
Простершись на траве под ивой наклоненной,  
Внимаю, как журчит, сливаясь с рекой,  
Поток, кустами осененной.

Как слит с прохлагою растений фимиам!  
Как сладко в тишине у берега струй плесканье!  
Как тихо веянье зефира по водам  
И гибкой ивы трепетанье!

Чуть слышно над рекой колышется тростник;  
Глас петела вдали уснувши будит селы;  
В траве коростеля я слышу дикий крик,

В лесу стенанье Филомелы...

Но что?.. Какой вдали мелькнул волшебный луч?  
Восточных облаков хребты воспламенились;  
Осыпан искрами во тьме журчащий ключ;  
В реке дубравы отразились.

Луны ущербный блик встает из-за холмов...  
О тихое небес задумчивых светило,  
Как зыблется твой блеск на сумраке лесов!  
Как бледно брег ты озлатило!

Сижу задумавшись; в душе моей мечты;  
К протекшим временам лечу воспоминаньем...  
О дней моих весна, как быстро скрылась ты,  
С твоим блаженством и страданьем!

Где вы, мои друзья, вы, спутники мои?  
Ужели никогда не зреть соединенья?  
Ужель иссякнули всех радостей струи?  
О вы, погибши наслажденья!

О братья! о друзья! где наш священный круг?  
Где песни пламенны и Музам и свободе?  
Где Вакховы пиры при шуме зимних выюг?  
Где клятвы, данные Природе,



Хранить с огнем нетленность братских уз?  
И где же вы, друзья?.. Иль всяк своей тропею,  
Лишенный спутников, влача сомнений груз,  
Разочарованный душою,

Тащиться осужден до бездны гробовой?..  
Один – минутный цвет – почил, и непробудно,  
И гроб безвременный любовь кропит слезой.  
Другой... о небо правосудно!..

А мы... ужель дерзнем друг другу чужды быть?  
Ужель красавиц взор, иль почестей исканье,  
Иль суетная честь приятным в свете слыть  
Загладят в сердце воспоминанье

О радостях души, о счастье юных дней,  
И дружбе, и любви, и Музам посвященных?  
Нет, нет! пусть всяк идет вослед судьбе своей,  
Но в сердце любит незабвенных...

Мне Рок судил: брести неведомой стезей,  
Быть другом мирных сел, любить красы Природы,  
Дышать под сумраком дубравной тишиной,  
И, взор склонив на пенны воды,

Творца, друзей, любовь и счастье воспевать.  
О песни, чистый плод невинности сердечной!  
Блажен, кому дано цевницей оживлять  
Часы сей жизни скоротечной!

Кто, в тихий утра час, когда туманный дым  
Ложится по полям и холмы облачает,  
И солнце, восходя, по рощам голубым  
Спокойно блеск свой разливает,

Спешит, восторженный, оставя сельский кров,  
В дубраве упредить пернатых пробужденье,  
И, лиру соглася с свирелью пастухов,  
Поет светила возрожденье!

Так, петь есть мой удел... но долго ль?.. Как узнать?..  
Ах! скоро, может быть, с Минваною унылой  
Придет сюда Альпин в час вечера мечтать  
Над тихой юноши могилой!

*Май-шоль 1806*

# Теон и Эсхин

Эсхин возвращался к Пенатам своим,  
К брегам благовонным Алфея.  
Он долго по свету за счастьем бродил —  
Но счастье, как тень, убегало.

И роскошь, и слава, и Вакх, и Эрот —  
Лишь сердце они изнурили;  
Цвет жизни был сорван; увяла душа;  
В ней скука сменила надежду.

Уж взорам его тихоструйный Алфей  
В цветущих берегах открывался;  
Пред ним оживились минувшие дни,  
Давно улетевшая младость...

Все те ж берега и холмы,  
И то же прекрасное небо;  
Но где ж озарявшая некогда их  
Волшебным сияньем Надежда?

Жилища Теонова ищет Эсхин.  
Теон, при домашних Пенатах,  
В желаниях скромный, без пышных надежд,

Остался на бреге Алфея.

Близ места, где в море втекает Алфей  
Под сенью олив и платанов,  
Смиренную хижину видит Эсхин —  
То было жилище Теона.

С безоблачных солнце сходило небес,  
И тихое море горело;  
На хижину сыпался розовый блеск,  
И мирты окрестны алели.

Из белого мрамора гроб невдали,  
Обсаженный миртами, зрелся;  
Душистые розы и гибкий ясмин  
Ветвями над ним соплетались.

На праге сидел в размышленьях Теон,  
Смотря на багряное море —  
Вдруг видит Эсхина, и вмиг узнает  
Сопутника юныя жизни.

«Да благостно взглянет хранитель-Зевес  
На мирный возврат твой к Пенатам!»  
С блистающим взором Теон  
Сказал, обнимая Эсхина.

И взгляд на него любопытный вперил —  
Лицо его скорбно и мрачно.  
На друга внимательно смотрит Эсхин —  
Взор друга прискорбен, но ясен.

«Когда я с тобой разлучался, Теон,  
Надежда сулила мне счастье;  
Но опыт мне в жизни иное явил:  
Надежда лукавый предатель.

Скажи, о Теон, твой задумчивый взгляд  
Не ту же ль судьбу возвещает?  
Ужель и тебя посетила печаль  
При мирных домашних Пенатах?»

Теон указал, вздыхая на гроб...  
«Эсхин, вот безмолвный свидетель,  
Что боги послали нам жизни —  
Но с нею печаль неразлучна.

О! нет, не ропщу на Зевесов закон:  
И жизнь и вселенна прекрасны.  
Не в радостях быстрых, не в ложных мечтах  
Я видел земное блаженство.

Что может разрушить в минуту судьба,  
Эсхин, то на свете не наше;  
Но сердца нетленные блага: любовь  
И сладость возвышенных мыслей.

Вот счастье; о друг мой, оно не мечта.  
Эсхин, я любил и был счастлив;  
Любовью моя осветилась душа,  
жизнь в красоте мне предстала.

При блеске возвышенных мыслей я зрел  
Яснее великость творенья;  
Я верил, что путь мой лежит на земле  
К прекрасной, возвышенной цели.

Увы! я любил... и ее уже нет!  
Но счастье, вдвоем столь живое,  
Навеки ль исчезло? И прежние дни  
Воотце ли столь были прелестны?

О! нет: никогда не погибнет их след;  
Для сердца прошедшее вечно.  
Страданье в разлуке есть та же любовь;  
Над сердцем утрата бессильна.

И скорбь о погибшем не есть ли, Эсхин,

Обет неизменной надежды:  
Что где-то в знакомой, но тайной стране  
Погибшее нам возвратится?

Кто раз полюбил, тот на свете, мой друг,  
Уже одиноким не будет...  
Ах! свет, где она предо мною цвела, —  
Он тот же: все ею он полон.

По той же дороге стремлюся один  
И к той же возвышенной цели,  
К которой так бодро стремился вдвоем, —  
Сих уз не разрушит могила.

Сей мыслью высокой украшена жизнь;  
Я взором смотрю благодарным  
На землю, где столько рассыпано благ,  
На полное славы творенье.

Спокойно смотрю я с земли рубежа  
На сторону лучшая жизни;  
Сей сладкой надеждою мир озарен,  
Как небо сияньем Авроры.

С сей сладкой надеждой я выше судьбы,  
И жизнь мне земная священна;

При мысли великой, что я человек,  
Всегда возвышаюсь душою.

А этот безмолвный, таинственный гроб...  
О друг мой, он верный свидетель,  
Что лучшее в жизни еще впереди,  
И верно желанное будет;

Сей гроб – затворенная к счастью дверь;  
Отворится... жду и надеюсь!  
За ним ожидает спутник меня,  
На миг мне явившейся в жизни.

О друг мой, искав изменяющих благ,  
Искав наслаждений минутных,  
Ты верные блага утратил свои —  
Ты жизнь презирать научился.

С сим гибельным чувством ужасен и свет;  
Дай руку: близ верного друга,  
С природой и жизнью опять примиришь;  
О! верь мне, прекрасна вселенна.

Все небо нам дало, мой друг, с бытием:  
Все в жизни к великому средство;  
И горе и радость – все к цели одной:



Хвала жизнедавцу-Зевесу!»

*3–7 декабря 1814*

# Славянка

## Элегия

Славянка тихая, сколь ток приятен твой.  
Когда, в осенний день, в твои глядятся воды  
Холмы, одетые последнею красой  
Полуотцветшия природы.

Спешу к твоим брегам... свод неба тих и чист;  
При свете солнечном прохлады поведает;  
Последний запах свой осыпавшийся лист  
С осенней свежестью сливает.

Иду под рощею излучистой тропой;  
Что шаг, то новая в глазах моих картина,  
То вдруг, сквозь чащу древ, мелькает предо мной,  
Как в дыме, светлая долина;

То вдруг исчезло все... окрест сгустился лес;  
Все дико вокруг меня, и сумрак и молчанье;  
Лишь изредка, струей сквозь темный свод древес  
Прокравшись, дневное сиянье

Верхи поблеклые и корни золотит;  
Лишь, сорван ветерка минутным дуновеньем,

На сумраке листок трепещущий блестит,  
Смущая тишину паденьем...

И вдруг пустынный храм в дичи передо мной;  
Заглохшая тропа; кругом кусты седые;  
Между багряных лип чернеет дуб густой  
И дремлют ели гробовые.

Воспоминанье здесь унылое живет;  
Здесь, к урне преклонясь задумчивой главою,  
Оно беседует о том, чего уж нет,  
С неизменяющей Мечтою.

Все к размышленью здесь влечет невольно нас;  
Все в душу темное уныние вселяет;  
Как будто здесь оно из гроба важный глас  
Давно минувшего внимает.

Сей храм, сей темный свод, сей тихий мавзолей,  
Сей факел гаснувший и долу обращенный,  
Все здесь свидетель нам, сколь блага наших дней,  
Сколь все величия мгновенны.

И нечувствительно с превратности мечтой  
Дружится здесь мечта бессмертия и славы:  
Сей витязь, на руку склонившийся главою;

Сей громоносец двоеглавый,

Под шуйцей твердою сидящий на щите;  
Сия печальная семья кругом царицы;  
Сии небесные друзья на высоте,  
Младые спутники денницы...

О! сколь они, в виду сей урны гробовой,  
Для унывающей души красноречивы:  
Тоскуя ль полетит она за край земной —  
Там все утраченные живы;

К земле ль наклонит взор — великий ряд чудес:  
Борьба за честь; народ, покрытый блеском славным;  
И мир, воскреснувший по манию небес,  
Спокойный под щитом державным.

Но вокруг меня опять светлеет частый лес;  
Опять река вдали мелькает средь долины,  
То в свете, то в тени, то в ней лазурь небес,  
То обращенных древ вершины.

И вдруг открытая равнина предо мной:  
Там мыза, блеском дня под рощей озаренна;  
Спокойное село над ясною рекой,  
Гумно и нива обнаженна.

Все здесь оживлено: с овинов дым седой,  
Клубясь, по браздам ложится и редее,  
И нива под его прозрачной пеленой  
То померкает, то светлеет.

То слышен по току согласный звук цепов;  
Там песня пастуха и шум от стад бегущих;  
Там медленно, скрипя, тащится ряд волов,  
Тяжелый груз снопов везущих.

Но солнце катится безнойное с небес;  
Окрест него закат свободно пламенеет;  
Завесой огненной подернут старый лес;  
Восток безоблачный синеет.

Спускаюсь в дол к реке: брег темен надо мной  
И на воды легли дерев кудрявых тени;  
Противный брег горит, осыпанный зарей;  
В волнах блестят прибрежны сени;

То отраженный в них сияет мавзолей;  
То холм муравчатый, увенчанный древами;  
То ива дряхлая, до свившихся корней  
Склонившись гибкими ветвями,

Сенистую главу купает в их струях;  
Здесь храм между берез и яворов мелькает;  
Там лебедь, притаясь меж берега в кустах,  
Недвижим в сумраке сияет.

Вдруг гладким озерком является река;  
Сколь здесь ее берегов пленительна картина;  
В лазоревый кристалл, слиясь вокруг челнока,  
Яснеет вод ее равнина.

Но гаснет день... в тени склонился лес к водам;  
Древа облечены вечерней темнотою;  
Лишь простирается по тихим их верхам  
Заря багряной полосой:

Лишь ярко заревом восточный берег облит,  
И пышный дом царей на скате озлащенном,  
Как исполин, глядясь в зеркало вод, блестит  
В величии уединенном.

Но вечер на него покров накинул свой;  
И рощи и берега, смешавшись, побледнели,  
Последни облака, блиставшие зарей,  
С небес, потухнув, улетели:

И воцарила повсюду тишина;

Все спит... лишь изредка в далекой тьме промчится  
Невнятный глас... или колышется волна...

Иль сонный лист зашевелится.

Я на берегу один... окрестность вся молчит...

Как привидение в тумане предо мною

Семья молодых берез недвижимо стоит

Над усыпленную водою.

Вхожу с волнением под их священный кров;

Мой слух в сей тишине приветный голос слышит:

Как бы эфирное там веет меж листов,

Как бы невидимое дышит;

Как бы сокрытая под юных древ корой,

С сей очарованной мешаясь тишиною,

Душа незримая подымлет голос свой

С моею беседовать душою.

И некто урне сей безмолвной приседит;

И, мнится, на меня вперил он темны очи;

Без образа лицо, и зрак туманный слит

С туманным мраком полуночи.

Смотрю... и, мнится, все, что было жертвой лет,

Опять в видении прекрасном воскресает;

И все, что жизнь сулит, и все, чего в ней нет,  
С надеждой к сердцу прилетает.

Но где он?.. скрылось все... лишь только в тишине  
Как бы знакомое мне слышится призыванье,  
Как будто Гений мой указывает мне  
На неизвестное свиданье.

О! кто ж ты, тайный вождь? душа тебе вослед!  
Скажи: бессмертный ли пределов сих хранитель  
Иль гость минутный их? Скажи, земной ли свет  
Иль небеса твоя обитель?..

И ангел от земли в сиянье предо мной  
Взлетает; на лице величие смиренья;  
Взор к небу устремлен: над юною главой  
Горит звезда преображенья.

Не медли улетать, прекрасный сын небес;  
Младая жизнь в слезах простерта пред тобою...  
Но где я?.. Все вокруг молчит... призрак исчез,  
И небеса покрыты мглою.

Одна лишь смутная мечта в душе моей,  
Как будто мир земной в ничто преобразился;  
Как будто та страна знакома стала ей



Куда сей чистый ангел скрылся.  
*23–28 сентября 1815*

# Весеннее чувство

Легкий, легкий ветерок,  
Что так сладко, тихо веешь?  
Что играешь, что светлеешь,  
Очарованный поток?  
Чем опять душа полна?  
Что опять в ней пробудилось?  
Что с тобой к ней возвратилось,  
Перелетная весна?  
Я смотрю на небеса...  
Облака, летя, сияют  
И, сияя, улетают  
За далекие леса.

Иль опять от вышины  
Весть знакомая несется?  
Или снова раздается  
Милый голос старины?  
Или там, куда летит  
Птичка, странник поднебесный,  
Все еще сей неизвестный  
Край *желанного* сокрыт?..  
Кто ж к неведомым брегам  
Путь неведомый укажет?

Ах! найдется ль, кто мне скажет:  
Очарованное *Там?*

*1816*

# Голос с того света

Не узнавай, куда я путь склонила,  
В какой предел из мира перешла...  
О друг, я все земное совершила;  
Я на земле любила и жила.

Нашла ли их? Сбылись ли ожидания?  
Без страха верь; обмана сердцу нет;  
Сбылося все; я в стороне свиданья;  
И знаю *здесь*, сколь *ваш* прекрасен свет.

Друг, на *земле* великое не тщетно;  
Будь тверд, а *здесь* тебе не изменят;  
О милый, *здесь* не будет безответно  
Ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд.

Не унывай: минувшее с тобою;  
Незрима я, но в мире мы одним;  
Будь верен мне прекрасною душою;  
Сверши *один* начатое *вдвоем*.

*Между 14 и 16 марта 1817*

# Песня

Минувших дней очарованье,  
Зачем опять воскресло ты?  
Кто разбудил воспоминанье  
И замолчавшие мечты?  
Шепнул душе привет бывалый;  
Душе блеснул знакомый взор;  
И зримо ей в минуту стало  
Незримое с давнишних пор.

О милый гость, святое *Прежде*,  
Зачем в мою теснишься грудь?  
Могу ль сказать: *живи* надежде?  
Скажу ль тому, что было: *будь*?  
Могу ль узреть во блеске новом  
Мечты увядшей красоту?  
Могу ль опять одеть покровом  
Знакомой жизни наготу?

Зачем душа в тот край стремится,  
Где были дни, каких уж нет?  
Пустынный край не населится,  
Не узрит он минувших лет;  
Там есть *один* жилец безгласный,

Свидетель милой старины;  
Там вместе с ним все дни прекрасны  
В единый гроб положены.

*1818*

# Невыразимое (Отрывок)

Что наш язык земной пред дивною природой?  
С какой небрежною и легкою свободой  
Она рассыпала повсюду красоту  
И разнovidное с единством согласила!  
Но где, какая кисть ее изобразила?  
Едва-едва одну ее черту  
С усилием поймать удастся вдохновенью...  
Но лзя ли в мертвое живое передать?  
Кто мог создание в словах пересоздать?  
Невыразимое подвластно ль выраженью?..  
Святые таинства, лишь сердце знает вас.  
Не часто ли в величественный час  
Вечернего земли преображенья,  
Когда душа смятенная полна  
Пророчеством великого виденья  
И в беспредельное унесена, —  
Спирается в груди болезненное чувство,  
Хотим прекрасное в полете удержать,  
Ненареченному хотим названиеъ дать —  
И обессиленно безмолвствует искусство?  
Что видимо очам — сей пламень облаков,  
По небу тихому летящих,

Сие дрожанье вод блестящих,  
Сии картины берегов  
В пожаре пышного заката —  
Сии столь *яркие черты* —  
Легко их ловит мысль крылата,  
И есть *слова* для их *блестящей* красоты.  
Но то, что слито с сей блестящей красотой —  
Сие столь смутное, волнующее нас,  
Сей внемаемый одной душою  
Обворожающего глас,  
Сие к далекому стремленье,  
Сей миновавшего привет  
(Как прилетевшее незапно дуновенье  
От луга родины, где был когда-то цвет,  
*Святая молодость*, где жило упованье),  
Сие шепнувшее душе воспоминанье  
О милом радостном и скорбном старины,  
Сия сходящая святыня с вышины,  
Сие присутствие Создателя в создание —  
Какой для них язык?.. Горе душа летит,  
Все необъятное в единый вздох теснится,  
И лишь молчание понятно говорит.

*Лето 1819*



# Лалла рук

Милый сон, души пленитель,  
Гость прекрасный с вышины,  
Благодарный посетитель  
Поднебесной стороны,  
Я тобою наслаждался  
На минуту, но вполне:  
Добрым вестником явился  
Здесь небесного ты мне.

Мнил я быть в обетованной  
Той земле, где вечный мир;  
Мнил я зреть благоуханный  
Безмятежный Кашемир;  
Видел я: торжествовали  
Праздник розы и весны  
И пришелицу встречали  
Из далекой стороны.

И блистая, и пленяя —  
Словно ангел неземной, —  
Непорочность молодая  
Появилась предо мной;  
Светлый завес покрывала

Оттеньял ее черты,  
И застенчиво склоняла  
Взор умильный с высоты.

Все – и робкая стыдливость  
Под сиянием венца,  
И младенческая живость,  
И величие лица,  
И в чертах глубокость чувства  
С безмятежной тишиной —  
Все в ней было без искусства  
Неописанной красой.

Я смотрел – а призрак мимо  
(Увлекая душу в след)  
Пролетал невозвратно;  
Я за ним – его уж нет!  
Посетил, как упование;  
Жизнь минуту озарил;  
И оставил лишь преданье,  
Что когда-то в жизни был.

Ах! не с вами обитает  
Гений чистый красоты;  
Лишь порой он навещает  
Нас с небесной высоты;

Он поспешен, как мечтанье,  
Как воздушный утра сон;  
Но в святом воспоминанье  
Неразлучен с сердцем он.

Он лишь в чистые мгновенья  
Бытия бывает к нам  
И приносит откровенья,  
Благотворные сердцам;  
Чтоб о небе сердце знало  
В темной области земной,  
Нам туда сквозь покрывало  
Он дает взглянуть порой;

И во всем, что здесь прекрасно,  
Что наш мир животворит,  
Убедительно и ясно  
Он с душою говорит;  
А когда нас покидает,  
В дар любви у нас в виду  
В нашем небе зажигает  
Он прощальную звезду.

*1 (13) февраля 1821*

# Воспоминание

О милых спутниках, которые наш свет  
Своим сопутствием для нас животворили,  
Не говори с тоской: *их нет*;  
Но с благодарностию: *были*.

*16 (28) февраля 1821*

# Море

## Элегия

Безмолвное море, лазурное море,  
Стою очарован над бездной твоей.  
Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью,  
Тревожною думой наполнено ты.  
Безмолвное море, лазурное море,  
Открой мне глубокую тайну твою.  
Что движет твое необъятное лоно?  
Чем дышит твоя напряженная грудь?  
Иль тянет тебя из земная неволи  
Далекое, светлое небо к себе?..  
Таинственной, сладостной полное жизни,  
Ты чисто в присутствии чистом его:  
Ты льешься его светозарной лазурью,  
Вечерним и утренним светом горишь,  
Ласкаешь его облака золотые  
И радостно блещешь звездами его.  
Когда же собираются темные тучи,  
Чтоб ясное небо отнять у тебя –  
Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь,  
Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу...  
И мгла исчезает, и тучи уходят,  
Но, полное прошлой тревоги своей,

Ты долго вздымаешь испуганны волны,  
И сладостный блеск возвращенных небес  
Не вовсе тебе тишину возвращает;  
Обманчив твоей неподвижности вид:  
Ты в бездне покойной скрываешь смятенье,  
Ты, небом любуясь, дрожишь за него.

*1821 или 1822*

## 9 марта 1823

Ты предо мною  
Стояла тихо.  
Твой взор унылый  
Был полон чувства.  
Он мне напомнил  
О милом прошлом...  
Он был последний  
На здешнем свете.

Ты удалилась,  
Как тихий ангел;  
Твоя могила,  
Как рай, спокойна!  
Там все земные  
Воспоминанья,  
Там все святые  
О небе мысли.

Звезды небес,  
Тихая ночь!..

*19 марта 1823*

## «Я Музу юную, бывало...»

Я Музу юную, бывало,  
Встречал в подлунной стороне,  
И Вдохновение летало  
С небес, незваное, ко мне;  
На все земное наводило  
Животворящий луч оно —  
И для меня в то время было  
Жизнь и Поэзия одно.

Но дарователь песнопений  
Меня давно не посещал;  
Бывалых нет в душе видений,  
И голос арфы замолчал.  
Его желанного возврата  
Дождаться ль мне когда опять?  
Или навек моя утрата  
И вечно арфе не звучать?

Но все, что от времен прекрасных,  
Когда он мне доступен был,  
Все, что от милых темных, ясных  
Минувших дней я сохранил —  
Цветы мечты уединенной



И жизни лучшие цветы, —  
Кладу на твой алтарь священный,  
О Гений чистой красоты!

Не знаю, светлых вдохновений  
Когда воротится чреда, —  
Но ты знаком мне, чистый Гений!  
И светит мне твоя звезда!  
Пока еще ее сиянье  
Душа умеет различать:  
Не умерло очарованье!  
Былое сбудется опять.

<1824>

# Таинственный посетитель

Кто ты, призрак, гость прекрасный?

К нам откуда прилетал?

Безответно и безгласно

Для чего от нас пропал?

Где ты? Где твое селенье?

Что с тобой? Куда исчез?

И зачем твое явление

В поднебесную с небес?

Не Надежда ль ты молодая,

Приходящая порой

Из неведомого края

Под волшебной пеленой?

Как она, неумолимо

Радость милую на час

Показал ты, с нею мимо

Пролетел и бросил нас.

Не Любовь ли нам собою

Тайно ты изобразил?..

Дни любви, когда одною

Мир для нас прекрасен был,

Ах! тогда сквозь покрывало

Неземным казался он...  
Снят покров; любви не стало;  
Жизнь пуста, и счастье – сон.

Не волшебница ли Дума  
Здесь в тебе явилась нам?  
Удаленная от шума  
И мечтательно к устам  
Приложивши перст, приходит  
К нам, как ты, она порой  
И в минувшее уводит  
Нас безмолвно за собой.

Иль в тебе сама святая  
Здесь Поэзия была?..  
К нам, как ты, она из рая  
Два покова принесла:  
Для небес лазурно-ясный,  
Чистый, белый для земли;  
С ней все близкое прекрасно;  
Все знакомо, что вдали.  
Иль Предчувствие сходило  
К нам во образе твоём  
И понятно говорило  
О небесном, о святом?  
Часто в жизни так бывало:

Кто-то светлый к нам летит,  
Подымает покрывало  
И в далекое манит.

*Первая половина 1824*

# Мотылек и цветы

Поляны мирной украшение,  
Благоуханные цветы,  
Минутное изображение  
Земной, минутной красоты;  
Вы равнодушно расцветаете,  
Глядяся в воды ручейка,  
И равнодушно упрекаете  
В непостоянстве мотылька.

Во дни весны с востока ясного,  
Младой денницей пробужден,  
В пределы бытия прекрасного  
От высоты спустился он.  
Исполненный воспоминанием  
Небесной, чистой красоты,  
Он вашим радостным сиянием  
Пленился, милые цветы.

Он мнил, что вы с ним однородные  
Переселенцы с вышины,  
Что вам, как и ему, свободные  
И крылья и душа даны;  
Но вы к земле, цветы, прикованы;

Вам на земле и умереть;  
Глаза лишь вами очарованы,  
А сердца вам не разогреть.

Не рождены вы для внимания;  
Вам непонятен чувства глас;  
Стремишься к вам без упования;  
Без горя забываешь вас.  
Пускай же к вам, резвясь, ласкается,  
Как вы, минутный ветерок;  
Иною прелестью пленяется  
Бессмертья вестник – мотылек...

Но есть меж вами два избранные,  
Два ненадменные цветка:  
Их имена, им сердцем данные,  
К ним привлекают мотылька.  
Они без пышного сияния;  
Едва приметны красотой:  
Один есть цвет воспоминания,  
Сердечной думы цвет другой.

О милое воспоминание  
О том, чего уж в мире нет!  
О дума сердца – упование  
На лучший, неизменный свет!

Блажен, кто вас среди губящего  
Волненья жизни сохранил  
И с вами низость настоящего  
И пренебрег и позабыл.

*Первая половина 1824.*

# Царскосельский лебедь

Лебедь белорудый, лебедь белокрылый,  
Как же нелюдимо ты, отшельник хилый,  
Здесь сидишь на лоне вод уединенных!  
Спутников давнишних, прежней современных  
Жизни, переживши, сетуя глубоко,  
Их ты поминаешь думой одинокой!  
Сумрачный пустынный, из уединенья  
Ты на молодое смотришь поколение  
Грустными очами; прежнего единый  
Брошенный обломок, в новый лебединый  
Свет на пир веселый гость не приглашенный,  
Ты вступить дичишься в круг неблагосклонный  
Резвой молодежи. На водах широких,  
На виду царевых теремов высоких,  
Пред Чесменской гордо блещущей колонной,  
Лебеди молодые голубое лоно  
Озера тревожат плаваньем, плесканьем,  
Боем крыл могучих, белых шей купаньем;  
День они встречают, звонко окликаясь;  
В зеркале прозрачной влаги отражаясь,  
Длинной вереницей, белым флотом стройно  
Плавают в сиянье солнца по спокойной  
Озера лазури; ночью ж меж звездами



В небе, повторенном тихими водами,  
Облаком перловым, вод не зыбля, реют  
Иль двойною тенью, дремля, в них белеют;  
А когда гуляет месяц меж звездами,  
Влагу расшибая сильными крылами,  
В блеске волн, зажженных месячным сияньем,  
Окружены брызгов огненных сверканьем,  
Кажутся волшебным призраков явленьем –  
Племя молодое, полное кипеньем  
Жизни своевольной. Ты ж старик печальный,  
Молодость их образ твой монументальный  
Резвую пугает; он на них наводит  
Скуку, и в приют твой ни один не входит  
Гость из молодежи, ветрено летящей  
Вслед за быстрым мигом жизни настоящей.  
Но не сетуй, старец, пращур лебединый:  
Ты родился в славный век Екатерины,  
Был ее ласкаем царскою рукою, —  
Памятников гордых битве под Чесмою,  
Битве при Кагуле воздвижение зрел ты;  
С веком Александра тихо устарел ты;  
И, почти столетний, в веке Николая  
Видишь, угасая, как вся Русь святая  
Вкруг царевой силы, – вековой зеленый  
Плющ вокруг силы дуба, – вьется под короной  
Царской, от окрестных бурь ища защиты.

Дни текли за днями. Лебедь позабытый  
Таял одиноко; а младое племя  
В шуме резвой жизни забывало время...  
Раз среди их шума раздался чудесно  
Голос, всю пронзивший бездну поднебесной;  
Лебеди, услышав голос, присмирели  
И, стремимы тайной силой, полетели  
На́ голос: пред ними, вновь помолоделый,  
Радостно вздымая перья груди белой,  
Голову на шее гордо распрямленной  
К небесам подъемля, – весь воспламененный,  
Лебедь благородный дней Екатерины  
Пел, прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый!  
А когда допел он – на небо взглянувши  
И крылами сильно дряхлыми взмахнувши –  
К небу, как во время оное бывало,  
Он с земли рванулся... и его не стало  
В высоте... и навзничь с высоты упал он;  
И прекрасен мертвый на хребте лежал он,  
Широко раскинув крылья, как летящий,  
В небеса вперяя взор, уж не горящий.

*Ноябрь-декабрь 1851*

# Розы

Розы цветущие, розы душистые, как вы прекрасно  
В пестрый венок сплетены милой рукой для меня!  
Светлое, чистое девственной кисти созданье, глубокий  
Смысл заключается здесь в легких, воздушных чертах.  
Роз разнovidных семья на одном окруженном шипами  
Стебле – не вся ли тут жизнь? Корень же твердый цветов  
Крест, претворяющий чудно своей жизнедательной силой  
Стебля терновый венец в свежий венок из цветов?  
Веры хранительной стебель, цветущие почки надежды,  
Цвет благовонный любви в образ один здесь слились, —  
Образ великий, для нас бытия выражающий тайну;  
Все, что пленяет, как цвет, все, что пронзает, как терн,  
Радость и скорбь на земле знаменуют одно: их в единый  
Свежий сплетает венок Промысел тайной рукой.  
Розы прекрасные! в этом венке очарованном здесь вы  
Будете свежи всегда: нет увяданья для вас;  
Будете вечно душисты; здесь памятью сердца о милой  
Вас здесь собравшей руке будет ваш жив аромат.

*Март 1852*

# Константин Николаевич Батюшков (1787–1855)

## Вакханка

Все на праздник Эригоны  
Жрицы Вакховы текли;  
Ветры с шумом разнесли  
Громкий вой их, плеск и стоны.  
В чаще дикой и глухой  
Нимфа юная отстала;  
Я за ней – она бежала  
Легче серны молодой. —  
Эвры волосы взвивали,  
Перевитые плющом;  
Нагло ризы поднимали  
И свивали их клубком.  
Стройный стан, кругом обвитый  
Хмеля желтого венцом,  
И пылающи ланиты  
Розы ярким багрецом,  
И уста, в которых тает  
Пурпуровый виноград, —

Все в неистовой прельщает!  
В сердце льет огонь и яд!  
Я за ней... она бежала  
Легче серны молодой;  
Я настиг – она упала!  
И тимпан под головой!  
Жрицы Вакховы промчались  
С громким воплем мимо нас;  
И по роще раздавались  
Эвоэ! и неги глас!

*1809–1811*

## К Дашкову

Мой друг! я видел море зла  
И неба мстительного кары:  
Врагов неистовых дела,  
Войну и гибельны пожары.  
Я видел сонмы богачей,  
Бегущих в рубищах издранных,  
Я видел бледных матерей,  
Из милой родины изгнанных!  
Я на распутье видел их,  
Как, к персям чад прижав грудных,  
Они в отчаяньи рыдали  
И с новым трепетом взирали  
На небо рдяное кругом.  
Трикраты с ужасом потом  
Бродил в Москве опустошенной,  
Среди развалин и могил;  
Трикраты прах ее священный  
Слезами скорби омочил.  
И там, где зданья величавы  
И башни древние царей,  
Свидетели протекшей славы  
И новой славы наших дней;  
И там, где с миром почивали

Останки иноков святых  
И мимо веки протекали,  
Святыни не касаясь их;  
И там, где роскоши рукою,  
Дней мира и трудов плоды,  
Пред златоглавою Москвою  
Воздвиглись храмы и сады, —  
Лишь угли, прах и камней горы,  
Лишь груды тел кругом реки,  
Лишь нищих бледные полки  
Везде мои встречали взоры!..  
А ты, мой друг, товарищ мой,  
Велишь мне петь любовь и радость,  
Беспечность, счастье и покой  
И шумную за чашей младость!  
Среди военных непогод,  
При страшном зареве столицы,  
На голос мирных цевницы  
Сзывать пастушек в хоровод!  
Мне петь коварные забавы  
Армид и ветреных Цирцей  
Среди могил моих друзей,  
Утраченных на поле славы!..  
Нет, нет! талант погибни мой  
И лира, дружбе драгоценна,  
Когда ты будешь мной забвенна,

Москва, отчизны край златой!  
Нет, нет! пока на поле чести  
За древний град моих отцов  
Не понесу я в жертву мести  
И жизнь, и к родине любовь;  
Пока с израненным героем,  
Кому известен к славе путь,  
Три раза не поставлю грудь  
Перед врагов сомкнутым строем, —  
Мой друг, дотолé будут мне  
Все чужды Музы и Хариты,  
Венки, рукой любви свиты,  
И радость шумная в вине!

*Март 1813*



# Тень друга

*Sunt aliquid manes: letum non omnia finit;  
Luridaque evictos effugit umbra rogos.*  
*Propert<ius>*

Я берег покидал туманный Альбиона:  
Казалось, он в волнах свинцовых утопал.  
За кораблем вилася Гальциона,  
И тихий глас ее пловцов увеселял.  
Вечерний ветер, валов плесканье,  
Однообразный шум, и трепет парусов,  
И кормчего на палубе зыванье  
Ко страже, дремлющей под говором валов, —  
Все сладкую задумчивость питало.  
Как очарованный, у мачты я стоял  
И сквозь туман и ночи покрывало  
Светила Севера любезного искал.  
Вся мысль моя была в воспоминанье  
Под небом сладостным отеческой земли,  
Но ветров шум и моря колыханье  
На вежды томное забвенье навели.  
Мечты сменялися мечтами,  
И вдруг... то был ли сон?.. предстал товарищ мне,  
Погибший в роковом огне  
Завидной смертью, над Плейсскими струями.

Но вид не страшен был; чело  
Глубоких ран не сохраняло,  
Как утро майское, веселием цвело  
И все небесное душе напоминало.  
«Ты ль это, милый друг, товарищ лучших дней!  
Ты ль это? – я вскричал, – о воин вечно милый!  
Не я ли над твоей безвременной могилой,  
При страшном зареве Беллониных огней,  
Не я ли с верными друзьями  
Мечом на дереве твой подвиг начертал  
И тень в небесную отчизну провождал  
С мольбой, рыданьем и слезами?  
Тень незабвенного! ответствуй, милый брат!  
Или протекшее все было сон, мечтанье;  
Все, все – и бледный труп, могила и обряд,  
Свершенный дружбою в твое воспоминанье?  
О! молви слово мне! пускай знакомый звук  
Еще мой жадный слух ласкает,  
Пускай рука моя, о незабвенный друг!  
Твою с любовью сжимает...»  
И я летел к нему... Но горний дух исчез  
В бездонной синеве безоблачных небес,  
Как дым, как метеор, как призрак полуночи,  
И сон покинул очи.

Все спало вокруг меня под кровом тишины.

Стихии грозные катилися безмолвны.  
При свете облаком подернутой луны  
Чуть веял ветерок, едва сверкали волны,  
Но сладостный покой бежал моих очей,  
И все душа за призраком летела,  
Все гостя горнего остановить хотела:  
Тебя, о милый брат! о лучший из друзей!

*Июнь 1814*

# Судьба Одиссея

Средь ужасов земли и ужасов морей  
Блуждая, бедствуя, искал своей Итаки  
Богобоязненный страдалец Одиссей;  
Стопой бестрепетной сходил Аида в мраки;  
Харибды яростной, подводной Сциллы стон  
    Не потрясли души высокой.

Казалось, победил терпеньем рок жестокой  
И чашу горести до капли выпил он;  
Казалось, небеса карать его устали

    И тихо сонного домчали  
До милых родины давно желанных скал.  
Проснулся он: и что ж? отчизны не познал.

*Вторая половина 1814*

# Мой гений

О, память сердца! ты сильнее  
Рассудка памяти печальной  
И часто сладостью своей  
Меня в стране пленяешь дальней.  
Я помню голос милых слов,  
Я помню очи голубые,  
Я помню локоны золотые  
Небрежно выющихся влосов.  
Моей пастушки несравненной  
Я помню весь наряд простой,  
И образ милой, незабвенной  
Повсюду странствует со мной.  
Хранитель гений мой – любовью  
В утеху дан разлуке он:  
Засну ль? приникнет к изголовью  
И усладит печальный сон.

*Вторая половина 1815*

# Разлука

Напрасно покидал страну моих отцов,  
Друзей души, блестящие искусства  
И в шуме грозных битв, под тению шатров  
Старался усыпить встревоженные чувства.  
Ах! небо чуждое не лечит сердца ран!

Напрасно я скитался  
Из края в край, и грозный океан  
За мной роптал и волновался;  
Напрасно от берегов пленительных Невы  
Отторженный судьбою,  
Я снова посещал развалины Москвы,  
Москвы, где я дышал свободой прямою!  
Напрасно я спешил от северных степей,  
Холодным солнцем освещенных,  
В страну, где Тирас бьет излучистой струей,  
Сверкая между гор, Церерой позлащенных,  
И древние поит народов племена.  
Напрасно: всюду мысль преследует одна  
О милой, сердцу незабвенной,  
Которой имя мне священо,  
Которой взор один лазоревых очей  
Все – неба на земле блаженства отверзает,  
И слово, звук один, прелестный звук речей,

Меня мертвит и оживляет.

*Июль-август 1815*

# Пробуждение

Зефир последний свеял сон  
С ресниц, окованных мечтами,  
Но я – не к счастью пробужден  
Зефира тихими крылами.  
Ни сладость розовых лучей  
Предтечи утреннего Феба,  
Ни кроткий блеск лазури неба,  
Ни запах, веющий с полей,  
Ни быстрый лет коня ретива  
По скату бархатных лугов  
И гончих лай, и звон рогов  
Вокруг пустынного залива –  
Ничто души не веселит,  
Души, встревоженной мечтами,  
И гордый ум не победит  
Любви – холодными словами.

*Вторая половина 1815*



# Таврида

Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,  
Где волны кроткие Тавриду омывают,  
И Фебовы лучи с любовью озаряют  
Им древней Греции священные места.  
Мы там, отверженные роком,  
Равны несчастьем, любвию равны,  
Под небом сладостным полуденной страны  
Забудем слезы лить о жребии жестоком;  
Забудем имена Фортуны и честей.  
В прохладе ясеней, шумящих над лугами,  
Где кони дикие стремятся табунами  
На шум студеной струй, кипящих под землей,  
Где путник с радостью от зноя отдыхает  
Под говором древес, пустынных птиц и вод, —  
Там, там нас хижина простая ожидает,  
Домашний ключ, цветы и сельский огород.  
Последние дары Фортуны благосклонной,  
Вас пламенны сердца приветствуют стократ!  
Вы краше для любви и мраморных палат  
Пальмиры Севера огромной!  
Весна ли красная блистает средь полей,  
Иль лето знойное палит иссохши злаки,  
Иль, урну хладную вращая, Водолей

Валит шумящий дождь, седый туман и мраки, —  
О радость! Ты со мной встречаешь солнца свет  
И, ложе счастья с денницей покидая,  
Румяна и свежа, как роза полевая,  
Со мною делишь труд, заботы и обед.  
Со мной в час вечера, под кровом тихой ночи  
Со мной, всегда со мной; твои прелестны очи  
Я вижу, голос твой я слышу, и рука  
В твоей покоится всечасно.  
Я с жаждою ловлю дыханье сладострастно  
Румяных уст, и если хоть слегка  
Летающий Зефир власы твои развеет  
И взору обнажит снегам подобну грудь,  
Твой друг не смеет и вздохнуть:  
Потупя взор, дивится и немеет.

*Вторая половина 1815*

# Надежда

Мой дух! доверенность к Творцу!  
Мужайся; будь в терпении камень.  
Не он ли к лучшему концу  
Меня провел сквозь бранный пламень?  
На поле смерти чья рука  
Меня таинственно спасала,  
И жадный крови меч врага,  
И град свинцовый отражала?  
Кто, кто мне силу дал сносить  
Труды, и глад, и непогоду,  
И силу – в бедстве сохранить  
Души возвышенной свободу?  
Кто вел меня от юных дней  
К добру стезею потаенной  
И в буре пламенных страстей  
Мой был Вожатай неизменной?

Он! Он! Его все дар благой!  
Он нам источник чувств высоких,  
Любви к изящному прямой  
И мыслей чистых и глубоких!  
Все дар его, и краше всех  
Даров – надежда лучшей жизни!

Когда ж узрю спокойный берег,  
Страну желанную отчизны?  
Когда струей небесных благ  
Я утолю любви желанье,  
Земную ризу брошу в прах  
И обновлю существованье?

*1815*

## К другу

Скажи, мудрец молодой, что прочно на земли?

Где постоянно жизни счастье?

Мы область призраков обманчивых прошли,

Мы пили чашу сладострастья:

Но где минутный шум веселья и пиров?

В вине потопленные чаши?

Где мудрость светская сияющих умов?

Где твой Фалерн и розы наши?

Где дом твой, счастья дом?.. Он в буре бед исчез,

И место поросло крапивой;

Но я узнал его; я сердца дань принес

На прах его красноречивой.

На нем, когда окрест замолкнет шум градской

И яркий Веспер засияет

На темном севере, – твой друг в тиши ночной

В душе задумчивость питает.

От самой юности служитель олтарей

Богини неги и прохлады,

От пресыщения, от пламенных страстей

Я сердцу в ней ищу отрады.

Поверишь ли? Я здесь, на пепле храмин сих,  
Венок веселия слагаю

И часто в горести, в волненьи чувств моих,  
Потупя взоры, восклицаю:

Минутны странники, мы ходим по гробам,  
Все дни утратами считаем,  
На крыльях радости летим к своим друзьям, —  
И что ж? их урны обнимаем.

Скажи, давно ли здесь, в кругу твоих друзей,  
Сияла Лила красотою?

Благие небеса, казалось, дали ей  
Все счастье смертной под луною:

Нрав тихий ангела, дар слова, тонкий вкус,  
Любви и очи, и ланиты,  
Чело открытое одной из важных Муз  
И прелесть – девственной Хариты.

Ты сам, забыв и свет, и тщетный шум пиров,  
Ее беседой наслаждался  
И в тихой радости, как путник средь песков,  
Прелестным цветом любовался.

Цветок (увы!) исчез, как сладкая мечта!

Она в страданиях почила

И, с миром в страшный час прощаясь навсегда,

На друге взор остановила.

Но, дружба, может быть, ее забыла ты!..

Веселье слезы осушило,

И тень чистейшую дыханье клеветы

На лоне мира возмутило.

Так все здесь суетно в обители сует!

Приязнь и дружество непрочно!

Но где, скажи, мой друг, прямой сияет свет?

Что вечно, чисто, непорочно?

Напрасно вопрошал я опытность веков

И Клии мрачные скрижали,

Напрасно вопрошал всех мира мудрецов:

Они безмолвьем отвечали.

Как в воздухе перо кружится здесь и там,

Как в вихре тонкий прах летает,

Как судно без руля стремится по волнам

И вечно пристани не знает, —

Так ум мой посреди сомнений погибал.  
Все жизни прелести затмились:  
Мой Гений в горести светильник погашал,  
И Музы светлые сокрылись.

Я с страхом спросил глас совести моей...  
И мрак исчез, прозрели вежды:  
И вера пролила спасительный елей  
В лампаду чистую Надежды.

Ко гробу путь мой весь как солнцем озарен:  
Ногой надежною ступаю  
И, с ризы странника свергая прах и тлен,  
В мир лучший духом возлетаю.

*1815*



# Переход через Рейн 1814

Меж тем как воины вдоль идут по полям,  
Завидя вдалеке твои, о Рейн, волны,  
    Мой конь, веселья полный,  
От строя отделясь, стремится к берегам,  
    На крыльях жажды прилетает,  
    Глощает хладную струю  
    И грудь, усталую в бою,  
    Желанной влагой обновляет...

О радость! я стою при Рейнских водах!  
И, жадные с холмов в окрестность броса взоры,  
    Приветствую поля и горы,  
И замки рыцарей в туманных облаках,  
    И всю страну, обильну славой,  
    Воспоминаньем древних дней,  
    Где с Альпов, вечною струей,  
    Ты льешься, Рейн величавой!

Свидетель древности, событий всех времен,  
О Рейн, ты поил несчетны легионы,  
    Мечом писавшие законы  
Для гордых Германа кочующих племен;

Любимец счастья, бич свободы,  
Здесь Кесарь бился, побеждал,  
И конь его переплывал  
Твои священные, Рейн, воды.

Века мелькнули: мир крестом преображен;  
Любовь и честь в душах суровых пробудились. —  
Здесь витязи вооружились  
Копьем за жизнь сирот, за честь прелестных жен;  
Тут совершались их турниры,  
Тут бились храбрые – и здесь  
Не умер, мнится, и поднесь  
Звук сладкой Трубадуров лиры.

Так, здесь, под тению смоковниц и дубов,  
При шуме сладостном нагорных водопадов,  
В тени цветущих сел и градов  
Восторг живет еще среди избранных сынов.  
Здесь все питает вдохновенье:  
Простые нравы праотцев,  
Святая к родине любовь  
И праздной роскоши презренье.

Все, все, – и вид полей, и вид священных вод,  
Туманной древности и Бардам современных,  
Для чувств и мыслей дерзновенных

И силу новую, и крылья придает.  
Свободны, горды, полудики,  
Природы верные жрецы,  
Тевтонски пели здесь певцы...  
И смолкли их волшебны лики.

Ты сам, родитель вод, свидетель всех времен,  
Ты сам, до наших дней спокойный, величавый,  
С падением народной славы  
Склонил чело, увы! познал и стыд и плен...  
Давно ли брег твой под орлами  
Аттилы нового стенал,  
И ты, – уныло протекал  
Между враждебными полками?

Давно ли земледел вдоль красных берегов,  
Средь виноградников заветных и священных,  
Полки встречал иноплеменных  
И ненавистный взор зареинских сынов?  
Давно ль они, кичася, пили  
Вино из синих хрусталей  
И кони их среди полей  
И зрелых нив твоих бродили?

И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,  
Под знаменем Москвы, с свободой и с громами!..

Стеклись с морей, покрытых льдами,  
От струй полуденных, от Каспия валов,  
От волн Улей и Байкала,  
От Волги, Дона и Днепра,  
От града нашего Петра,  
С вершин Кавказа и Урала!..

Стеклись, нагрянули, за честь твоих граждан,  
За честь твердынь, и сел, и нив опустошенных,  
И берегов благословенных,  
Где расцвело в тиши блаженство россиян;  
Где ангел мирный, светозарной,  
Для стран полуночи рожден  
И провиденьем обречен  
Царю, отчизне благодарной.

Мы здесь, о Рейн, здесь! ты видишь блеск мечей!  
Ты слышишь шум полков и новых коней ржанье,  
«Ура» победы и зыванье  
Идущих, скачущих к тебе богатырей.  
Взвывая к небу прах летучий,  
По трупам вражеским летят  
И вот – коней лихих поят,  
Кругом заставляя дол зыбучий.

Какой чудесный пир для слуха и очей!

Здесь пушек светла медь сияет за конями,  
И ружья длинными рядами,  
И стяги древние средь копий и мечей.  
Там шлемы воев оперенны,  
Тяжелой конницы строи,  
И легких всадников рои —  
В текучей влаге отраженны!

Там слышен стук секир, и пал угрюмый лес!  
Костры над Реином дымятся и пылают!  
И чаши радости сверкают!  
И клики воинов восходят до небес!  
Там ратник ратника объемлет;  
Там точит пеший штык стальной;  
И конный грозною рукой  
Крылатый дротик свой колеблет.

Там всадник, опершись на светлу сталь копья,  
Задумчив и один, на берегу высоком  
Стоит и жадным ловит оком  
Реки излучистой последние края.  
Быть может, он вспоминает  
Реку своих родимых мест —  
И на груди свой медный крест  
Невольно к сердцу прижимает...

Но там готовится, по манию вождей,  
Бескровный жертвенник средь гибельных трофеев,  
И богу сильных Маккавеев  
Коленопреклонен служитель олтарей:  
Его, шумя, приосеняет  
Знамен отчизны грозный лес;  
И солнце юное с небес  
Олтарь сияньем осыпает.

Все крики бранные умолкли, и в рядах  
Благоговение внезапно воцарилось,  
Оружье долу преклонилось,  
И вождь, и ратники чело склонили в прах:  
Поют владыке вышней силы,  
Тебе, подателю побед,  
Тебе, незаходимый свет!  
Дымятся мирные кадилы.

И се подвигнулись – валит за строем строй!  
Как море шумное, волнуется все войско;  
И эхо вторит клик героической,  
Досель неслышанный, о Рейн, над тобой!  
Твой стонет брег гостеприимной,  
И мост под воями дрожит!  
И враг, завидя их, бежит,  
От глаз в дали теряясь дымной!..

*Конец 1816 – начало 1817.*

## **«Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы...»**

Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы  
При появлении Аврориных лучей,  
Но не отдаст тебе багряная денница  
Сияния протекших дней,  
Не возвратит убежищей прохлады,  
Где нежились рои красот,  
И никогда твои порфирны колоннады  
Со дна не встанут синих вод.

*Лето 1819*



# Николай Иванович Гнедич (1784–1833)

## Задумчивость

Страшна, о задумчивость, твоя власть над душою,  
Уныния мрачного бледная мать!  
Одни ли несчастные знакомы с тобою,  
Что любишь ты кровы лишь их посещать?  
Или тебе счастливых невступны чертоги?  
Иль вечно врата к ним золотые стругут  
Утехи – жилищ их блюстители-боги? —  
Нет, твой не в чертогах любимый приют;  
Там нет ни безмолвия, ни дум, ни вздыханий.  
Хоть есть у счастливых дни слез и скорбей,  
Их стоны не слышимы при шуме ласканий,  
Их слезы не горьки на персях друзей.  
Бежишь ты их шумных чертогов блестящих;  
Тебя твое мрачное сердце стремится  
Туда, где безмолвна обитель скорбящих  
Иль где одинокий страдалец грустит.  
Увы! не на радость приходишь ты к грустным,  
Как друг их, любезная сердцу мечта:

Витает она по дубравам безмолвным;  
Равно ей пустынные милы места,  
Где в думах таинственных часто мечтает  
И, дочь печали, грустит и она;  
Но взор ее томный отрадой сияет,  
Как ночью осенней в тумане луна;  
И грусть ее сладостна, и слезы приятны,  
И образ унылый любезен очам;  
Минуты бесед ее несчастным отрадны,  
И сердцу страдальца волшебный бальзам:  
Улыбкой унылое чело озаряя,  
Хоть бледной надеждой она их живит  
И, робкий в грядущее взор устремляя,  
Хоть призраком счастья несчастному льстит.  
Но ты, о задумчивость, тяжелой рукою  
Обнявши сидящего в грусти немой  
И думы вокруг черные простря над главою,  
Заводишь беседы с его лишь тоской;  
Не с тем, чтоб усталую грудь от вздыханий  
Надежды отрадной лучом оживить;  
Нет, призраки грозные грядущих страданий  
Ему ты заботишься в думах явить;  
И смотришь, как грустного глава поникает,  
Как слезы струит он из томных очей,  
Которые хладная земля пожирает.  
Когда ж, изнуренный печалью своей,

На одр он безрадостный, на одр одинокий  
Не в сон, но в забвенье страданий падет,  
Когда в его храмину, в час ночи глубокой  
Последний друг скорбных – надежда придет,  
И с лаской к сиротскому одру приникает,  
Как нежная мать над сыном стоит  
И песни волшебные над ним воспевает,  
Пока его в тихих мечтах усыпит;  
И в миг сей последнего душ наслажденья  
И сна ты страдальцу вкусить не даешь:  
Перстом, наваждающим мечты и виденья,  
Касаясь челу его, сон ты мятешь;  
И дух в нем, настроенный к мечтаньям унылым,  
Тревожишь, являя в виденьях ночей  
Иль бедствия жизни, иль ужас могилы,  
Иль призраки бледные мертвых друзей.  
Он зрит незабвенного, он глас его внемлет,  
Он хочет обнять ему милый призрак —  
И одр лишь холодный несчастный объемлет,  
И в храмине тихой находит лишь мрак!  
Падет он встревоженный и горько прельщенный;  
Но сон ему боле не сводит очей.  
Так дни начинается он, на грусть пробужденный,  
Свой одр одинокий бросая с зарей:  
Ни утро веселостью, ни вечер красами  
В нем сердца не радуют: мертв он душой;

При девах ласкающих, в беседе с друзьями,  
Везде, о задумчивость, один он с тобой!

*1809*

# Осень

Дубравы пышные, где ваше одеянье?  
Где ваши прелести, о холмы и поля,  
Журчание ключей, цветов благоуханье?  
Где красота твоя, роскошная земля?  
Куда сокрылись певцов пернатых хоры,  
Живившие леса гармонией своей?  
Зачем оставили приют их мирных дней?  
И все уныло вокруг – леса, долины, горы!

Шумит порывный ветер между дерев нагих  
И, желтый лист крутя, далеко завоевает, —  
Так все проходит здесь, явление на миг:  
Так гордый сын земли цветет и исчезает!

На крыльях времени безмолвного летят  
И старость и зима, гроза самой природы;  
Они, нещадные и быстрые, умчат,  
Как у весны цветы, у нас молодые годы!

Но что ж? крушитесь вы сей мрачною судьбой,  
Вы, коих низкие надежды и желанья  
Лишь пресмыкаются над брэнною землей,  
И дух ваш заключат в гробах без упованья.

Но кто за темный гроб с возвышенной душой,  
С святой надеждою взор ясный простирает,  
С презреньем тот на жизнь, на мрачный мир взирает  
И улыбается превратности земной.

Весна украсить мир ужель не возвратится?  
И солнце пало ли на вечный свой закат?  
Нет! новым пурпуром восток воспламенится,  
И новою весной дубравы зашумят.  
А я остануся в ничтожность погруженный,  
Как всемогущий перст цветок животворит?  
Как червь, сей житель дня, от смерти пробужденный,  
На крыльях золотых вновь к жизни полетит!

Сменяйтесь, времена, катитесь в вечность, годы!  
Но некогда весна несменная сойдет!  
Жив Бог, жива душа! и, царь земной природы,  
Воскреснет человек: у Бога мертвых нет!

# Дума

Кто на земле не вкушал жизни на лоне любви,  
Тот бытия земного возвышенной цели не понял;  
Тот предвкусить не успел сладостной жизни другой:  
Он, как туман, при рождении гибнущий, умер, не живши.

1832

# Денис Васильевич Давыдов (1784–1839)

## В альбом

На выюке, в тороках, цевницу я таскаю,  
Она и под локтем, она под головой;  
Меж конских ног позабываю,  
В пыли, на влаге дождевой...  
Так мне ли ударять в разлаженные струны  
И петь любовь, луну, кусты душистых роз?  
Пусть загремят войны перуны,  
Я в этой песне виртуоз!

*1811*



## <Элегия I>

Возьмите меч – я недостойн брани!  
Сорвите лавр с чела – он страстью помрачен!  
О боги Пафоса! окуйте мощны длани  
И робким пленником в постыдный риньте плен!  
Я ваш! – и кто не воспылает!  
Кому не пишется любовью приговор,  
Как длинные она ресницы подымает,  
И пышет страстью взор!  
Когда харитой улыбнется,  
Или в ночной тиши  
Воздушным призраком несется,  
Иль, непреклонная, над чувствами смеется  
Обуреваемой души!  
О вы, которые здесь прелестями гордитесь!  
Не вам уж более покорствуется любовь,  
Взгляните на нее и сердцем содрогнитесь:  
Она – владычица и смертных, и богов!  
Ах! пусть бог Фракии мне срамом угрожает  
И, потрясая лавр, манит еще к боям, —  
Воспитанник побед прах ног ее лобзает  
И говорит «прости» торжественным венкам!  
Но кто сей юноша блаженный,  
Который будет пить дыханье воспаленно

На тающих устах,  
Познает мленье чувств в потупленных очах  
И на груди ее воздремлет утомленный!

*1814*

## <Элегия IV >

В ужасах войны кровавой  
Я опасности искал,  
Я горел бессмертной славой,  
Разрушением дышал;  
И, судьбой гонимый вечно,  
«Счастья нет!» – подумал я...  
Друг мой милый, друг сердечный,  
Я тогда не знал тебя!  
Ах, пускай герой стремится  
За блистательной мечтой  
И через кровавый бой  
Свежим лавром осенится...  
О мой милый друг! с тобой  
Не хочу высоких званий,  
И мечты завоеваний  
Не тревожат мой покой!  
Но коль враг ожесточенный  
Нам дерзнет противустать,  
О, тогда мой долг священный –  
Вновь за родину восстать;  
Друг твой в поле появится,  
Еще саблею блеснет,  
Или в лаврах возвратится,

Иль на лаврах мертв падет!..  
Полумертвый, не престану  
Биться с храбрыми в ряду,  
В память друга приведу...  
Встрепенусь, забуду рану,  
За тебя еще восстану  
И другую смерть найду!

*1815*

## <Элегия VIII>

О пощади! – Зачем волшебство ласк и слов,  
Зачем сей взгляд, зачем сей вздох глубокий,  
Зачем скользит небрежно покров  
С плеч белых и с груди высокой?  
О пощади! Я гибну без того,  
Я замираю, я немею  
При легком шорохе прихода твоего;  
Я, звуку слов твоих внимая, цепенею...  
Но ты вошла – и дрожь любви,  
И смерть, и жизнь, и бешенство желанья  
Бегут по вспыхнувшей крови,  
И разрывается дыханье!  
С тобой летят, летят часы,  
Язык безмолвствует... одни мечты и грезы,  
И мука сладкая, и восхищенья слезы –  
И взор впился в твои красы,  
Как жадная пчела в листок весенней розы!

# Бородинское поле

Умолкшие холмы, дол, некогда кровавый,  
Отдайте мне ваш день, день вековой славы,  
И шум оружия, и сечи, и борьбу!  
Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу  
Попрали сильные. Счастливы горделивы  
Невольным пахарем влекут меня на нивы...  
О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях,  
Ты, голосом своим рожающий в полках  
Погибели врагов предчувственные клики,  
Вождь гомерический, Багратион великий!  
Простри мне длань свою, Раевский, мой герой!  
Ермолов! я лечу – веди меня, я твой:  
О, обреченный быть побед любимым сыном,  
Покрой меня, покрой твоих перунов дымом!

Но где вы?.. Слушаю... Нет отзыва! С полей  
Умчался брани дым, не слышен стук мечей,  
И я, питомец ваш, склоняюсь главой у плуга,  
Завидую костям соратника иль друга.

## Ответ

Я не поэт, я – партизан, казак.  
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком,  
И беззаботно, кое-как,  
Раскидывал перед Кастальским током  
Мой независимый бивак.  
Нет, не наезднику пристало  
Петь, в креслах развалясь, лень, негу и покой.  
Пусть грянет Русь военной грозой —  
Я в этой песни запевало!

<1830>

## **«Я помню – глубоко...»**

Я помню – глубоко,  
Глубоко мой взор,  
Как луч, проникал и рощи, и бор  
И степь обнимал широко, широко...  
Но, зоркие очи,  
Потухли и вы –  
Я выглядел вас на деву любви,  
Я выплакал вас в бессонные ночи!



# **Федор Николаевич Глинка (1786–1880)**

## **Военная песнь, написанная во время приближения неприятеля к Смоленской губернии**

Раздался звук трубы военной,  
Гремит сквозь бури бранный гром:  
Народ, развратом воспоенный,  
Грозит нам рабством и ярмом!  
Текут толпы, корыстью гладны,  
Ревут, как звери плотоядны,  
Алкая пить в России кровь.  
Идут, сердца их – жесткий камень,  
В руках вращают меч и пламень  
На гибель весей и градов!

В крови омочены знамена  
Багреют в трепетных полях,  
Враги нам вьют вериги плена,  
Насилье грозно в их полках.

Идут, влекомы жаждой дани, —  
О страх! срывают дерзки длани  
Со храмов Божьих лепоту!  
Идут – и след их пепл и степи!  
На старцев возлагают цепи,  
Влекут на муки красоту!

Теперь ли нам дремать в покое,  
России верные сыны?!  
Пойдем, сомкнемся в ратном строе,  
Пойдем – и в ужасах войны  
Друзьям, отечеству, народу  
Отыщем славу и свободу  
Иль все падем в родных полях!  
Что лучше: жизнь – где узы плена,  
Иль смерть – где российские знамена?  
В героях быть или в рабах?

Исчезли мира дни счастливы,  
Пылает зарево войны:  
Простите, веси, паствы, нивы!  
К оружию, дети тишины!  
Теперь, сей час же мы, о други!  
Скуем в мечи серпы и плуги:  
На бой теперь – иль никогда!  
Замедлим час – и будет поздно!

Уж близко, близко время грозно:  
Для всех равно близка беда!

И всех, мне мнится, клятву внемлю:  
Забав и радостей не зная,  
Доколе враг святую землю  
Престанет кровью обогреть!  
Там друг зовет на битву друга,  
Жена, рыдая, шлет супруга,  
И мать в бой – своих сынов!  
Жених не мыслит о невесте,  
И громче труб на поле чести  
Зовет к отечеству любовь!

*Июль 1812*

## Ночная беседа и мечты

Тоскою, в полночь, пробужденный,  
С моим я сердцем говорил  
О древнем здании вселенной,  
О дивных таинствах светил.  
Оно повсюду находило  
И вес, и меру, и число,  
И было ясно и тепло,  
Как под златым огнем кадило,  
Струящее душистый дым,  
Оно молением святым,  
Как новой жизнью, напоялось.  
Но, пленник дум и суеты,  
Вдавался скоро я в мечты,  
И чувство счастья изменялось.  
С толпой нестройных, диких грез  
Ко мне волненье набегало,  
И, с утром, часто градом слез  
Мое возглавие блистало...

# К Богу великому, защитнику правды

*Суди, Господи, обидяция мя, побори борюция  
мя. Приими оружие и щит.*

*Псалом 34*

Суди и рассуди мой суд,  
Великий Боже, Боже правый!  
Враги на бой ко мне идут.  
И с ними замыслы лукавы  
Ползут, как черные змии...  
За что? В чем я пред ними винен?  
Им кажется и век мой длинен,  
И красны слезы им мои.  
Я с тихой детскою любовью  
Так пристально ласкался к ним, —  
Теперь моей омыться кровью  
Бегут с неистовством своим,  
В своей неутолимой злости.  
Уже сочли мои все кости,  
Назначив дням моим предел;  
И, на свою надеясь силу,  
И нож и темную могилу  
Мне в горький обрекли удел.  
Восстань же, двигнись, Бог великий!  
Возьми оружие и щит,

Смути их в радости их дикой!  
Пускай грозой Твоей вскипит  
И океан и свод небесный!  
О дивный Бог! о Бог чудесный!  
У ног Твоих лежит судьба,  
И ждут Твоих велений веки:  
Что ж пред Тобою человеки?  
Но кроткая души мольба,  
Души, любовью вдохновенной,  
Летит свободно по вселенной  
В зазвездны, в дальни небеса.  
Творец, творенью непонятный!  
Тебе везде так ясно вняты  
Людей покорных словеса!  
Пускай свирепостью пылают;  
Но только Твой раздастся гром —  
Они, надменные, растают,  
Как мягкий воск перед огнем!  
Как прах, как мертвый лист осенний  
Пред бурей воющей летит,  
Исчезнут силы дерзновенных!  
Идут – и зыбкий дол дрожит,  
Поля конями их покрыты...  
Но, Сильный, Ты на них блеснешь  
И звонкие коней копыты  
Одним ударом отсечешь,

И охromeют грозны рати...  
Сколь дивны тайны благодати!  
Ты дал мне видеть высоты!  
Он снял повязку слепоты  
С моих очей, Твой ангел милый:  
Я зрю... о ужас! зрю могилы.  
Как будто гладные уста  
Снедают трупы нечестивых...  
Кругом глухая пустота!  
Лишь тучи воронов крикливых  
И стаи воющих волков  
Летят, идут на пир, как гости,  
Чтоб грешников расхитить кости  
И жаднолизать их кровь!  
Горят высокие пожары,  
И слышен бунт страстей в сердцах;  
Везде незримые удары,  
И всюду зримо ходит страх.  
О, грозен гнев Твой всегромаший!  
И страхом все поражено:  
От птицы, в облаках парящей,  
До рыбы, канувшей на дно  
Морей пенящихся глубоких.  
Но в день судеб Твоих высоких  
Твой раб, снедаемый тоской,  
Не убоится бурь ревуших:

Тебя по имени зовущих  
Спасает мощной Ты рукой.

<1823>



# Сон русского на чужбине

*Отечества и дым нам сладок и приятен!*  
*Державин*

Свеча, чуть теплясь, догорала,  
Камин, дымяся, погасал;  
Мечта мне что-то напевала,  
И сон меня околдовал...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.